Комс. правда - 1996 - 8 дек. - с. 3

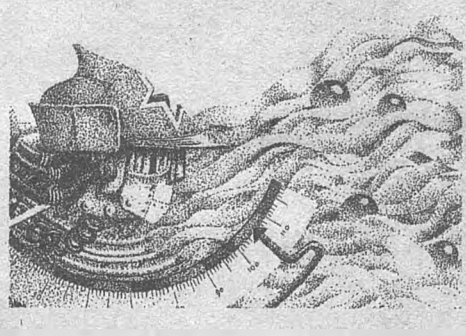

Рис. Сергея ИВАЩУКА.

Евгений ЗАМЯТИН:

«В других странах писателями гордятся, у нас их бьют по морде»

Ведущая рубрики Ольга КУЧКИНА

«Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к высшей мере наказания - автор настоящего письма - обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою. Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня, как для писателя, именно смертным приговором является лишение меня возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся травли».

Письмо Евгения Замятина, отправленное им в 1931 году, стоит в похожем ряду писательских писем Сталину. Это был акт отчаяния.

Обращать на себя внимание Сталина было опасно. Но в безвыходном положении Сталин оставался последним судьей: мог казнить, а мог и помиловать.

В мировой литературе известен жанр утопии. Это как бы нечто идеальное. Жанр антиутопии - наоборот, сатира на то, что задумывалось и предполагалось как идеальное. Идеальным предполагалось устройство СССР, где торжествовало не какое-то индивидуальное «я», а коллективное «мы». В СССР задумали переделать человека, вывести новую породу именно идеальных людей. По официальным докладам, по сводкам, по газетам так и выходило. По жизни выходило по-другому. Тех, кто это понимал, репрессировали: загоняли в тюрьмы и лагеря, казнили. Тех, кто оставался на свободе, заставляли молчать любыми способами. Так называемое единство - рядов, мыслей, народа, интеллигенции, - которого добивалась партия, руководящая сила советской страны, это «единство» уже сковало цепью ряды, мысли, народ и интеллигенцию. Оцепленные перекрашивались, прислуживали, раболепствовали. И только отдельные личности и отдельные мысли рвались и прорывались на волю.

Прорвался на волю роман «Мы». Замятинская антиутопия.

За девять лет до письма вождю Замятин, отвечая на запрос петербургского журнала «Вестник литературы», заметил: «Вы все-таки непременно хотите от меня биографии. Но ведь вам придется ограничиться только наружным осмотром и разве слегка взглянуть в полутемные окна: внутрь я редко кого зову. А снаружи вы увидите немного». Антиутопию, которой будет суждено стать знаменитой, охарактеризовал так: «этот роман «Мы» - самая шуточная и самая серьезная вещь».

«Много одиночества, много книг, очень рано Достоевский», - написано в скупой «Автобиографии». И чуть ниже: «Достоевский долго оставался - старший и страшный даже: другом был Гоголь...».

Невыразимое чувство одиночества было пережито резко, враз и сполна в раннем детстве. Ему едва исполнилось два или три года. Отец и мать взяли с собой в церковь в городе Задонске, а на обратном пути потеряли в толпе. Он сел и сидел на чьей-то могиле, охваченный ощущением, что это навсегда, что родителей нет и никогда больше не будет. «Целый час я жил в мире один», - запомнил на всю жизнь то, из чего потом, как бабочка из кокона, разовьется привычка к писательству.

Его отчизна - Лебедянь, та среднерусская полоса, с ее зелеными и желтыми полями и равнинами, конскими ярмарками, цыганами, шулерами и, как особо подчеркивал Замятин, «крепчайшим русским языком», в которой живали и о которой писали Толстой и Тургенев.

В воронежской гимназии все знали, что этот худенький гимназист пишет отличные сочинения. Никто не знал о другом - об опытах, которые он ставил на себе, чтобы закалиться. В седьмом классе его укусила бешеная собака. Он достал специальную литературу, где вычитал, что первые признаки бешенства обнаружатся через две недели. Завел дневник, единственный раз, куда тщательно заносил приметы болезни. Бешенства избежал, однако в следующий раз, когда, по его признанию, «сбесился от любви» - «проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее». Он уже учился в Питере в Политехническом институте на кораблестроителя.

Летом 1905 года - практика на пароходе «Россия», идущем из Одессы в Александрию. Ошеломляющие, дурманящие голову впечатления: «Константинополь, мечети, дервиши, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый яффский прибой, черно-зеленый Афон, чумной Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия... Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим».

Изумительная морская прогулка, однако, не помогла, не успокоила психику. Опыты над собой продолжались. «В те годы, - писал он позднее, - быть большевиком значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком». «Юная, огнеглазая любовница» - так он назвал Революцию (с большой буквы). Она захватила в свои сети. Арест, одиночка на Шпалерной, где пытался учить английский и стенографию и писать стихи. Спустя несколько лет, по окончании Политехнического, высылка из Питера и психический срыв: «тяжелая болезнь, нервы перетерлись, оборвались...» Он вернется в Петербург и, как уже было, получит предписание покинуть его, на сей раз от врачей.

Это верчение, эти вызовы - людям и судьбе, они снаружи. Внутри - сумеречная работа сознания, о какой поведает однажды. В спальных вагонах прежнего времени были приделаны маленькие костяные рукоятки. Повернешь вправо - яркий свет. Влево - темно. Оставишь посредине - синий свет, спать не мешает, а все видно. И вот таинственное замятинское сопоставление: «Когда я сплю и вижу сон, - рукоятка сознания повернута влево; когда я пишу - рукоятка поставлена посредине, сознание горит синей лампой. Я вижу сон на бумаге, фантазия работает так же, как во сне, она движется тем же путем ассоциаций, но этим сном осторожно (синий свет) руководит сознание».

Он уедет в Англию состоявшимся писателем. Автором двух оригинальных повестей: «Уездное» и «На куличках». Почему Англия? Потому что он корабел. Технические формы влекут его к себе так же, как словесные. Синий свет воображения может высветить текст, а может - чертежи и технологии. Замятин строит ледоколы. «Святой Александр Невский» (позднее переименованный в «Ленин»), «Святогор» (позднее «Красин»), «Минин», «Пожарский», «Илья Муромец». Любовно записывает: «Как Иванушка-дурачок в русских сказках, ледокол только притворяется неуклюжим».

«Две жены» - очеловечивает он кораблестроение и литературу.

Вернувшись в послереволюционный Петроград, он читает свою прозу на литературном вечере. Мемуарист свидетельствовал: «Ни у одного из выступавших в тот вечер, даже у Блока, не было и доли того успеха, который выпал Замятину». А Корней Чуковский бегал по залу, восклицая: «Новый Гоголь!»

Но уже в 1920 году в первом номере журнала «Дом искусства» Замятин помещает статью «Я боюсь». «...я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое». Ему есть с чем сравнивать. Он мог почувствовать происходившее в России и ее культуре отчетливее, чем другие, набрав в легкие «западного» воздуха. Личный опыт вылился в технократический образ: «Три года затем мы все вместе были заперты в стальном снаряде и во тьме, в тесноте, со свистом неслись неизвестно куда... И все писатели, кто уцелел, в темноте сталкивались здесь - рядом Горький и Мережковский, Муйтель и Гумилев - Чуковский и Волынский».

Из названных - одни расстреляны, другие эмигрировали, третьи драматически приспосабливались.

О писателях, которых нежно любил, он оставит книгу «Лица». Облик Блока нарисует четырьмя словами: «лицо, запертое на замок». В Чехове угадает: «Было в нем какое-то целомудрие, заставлявшее его тщательно прятать все, что глубоко, по-настоящему волновало его». О Белом: «Математика, поэзия, антропософия, фокстрот - это несколько наиболее острых углов, из которых складывается причудливый облик Андрея Белого, одного из оригинальнейших русских писателей, только что закончившего свой земной путь.

Самому Евгению Замятину все труднее дышать. Чтобы отдышаться, он примется за роман «Мы». Не его вина, что материал обернется злой карикатурой на социальное устройство, задуманное большевиками.

«От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства.

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства».

В России роман не выходил. Переведенный на французский, он был напечатан во Франции. Еще было тихо, еще не последовало никакой реакции. Писателя «поймали» на чешском издании, когда роман перевели с французского. Разразилась, по выражению Замятина, «критика в терминах прокуроров». Его перестали печатать. «В других странах писателями гордятся, у нас их бьют по морде», - с горечью констатирует он, заявив о выходе из Всероссийского союза писателей.

В ноябре 1931-го ему разрешили выезд за границу.

1937-й, страшный год для России, - год смерти Замятина.

Он скончается в Париже в бедной квартирке на улице Раффе от болезни сердца.